

К. С. Пигров

## Одиночество Василия Розанова: вечное и плодоносное

Причины неоднозначности рассмотрения личности и творчества В. В. Розанова, своеобразии его религиозной философии и политических взглядов. В. В. Розанов – это интимность, сократическая ирония и вместе с тем трагическая улыбка «фельетонной эпохи».

Ключевые слова: русская философская мысль, постмодернизм, религиозно-философская мысль, научное знание, православие, «фельетонная эпоха»

Konstantin S. Pigrov

## Loneliness Vasily Rozanov: eternal and fruit

The reasons for the ambiguity of the consideration of personality and creativity of V. V. Rozanov, originality of his religious philosophy and political views. V. V. Rozanov is the intimacy, Socratic irony, and at the same time, tragic smile of «feuilletonistic era».

Keywords: Russian philosophical thought, postmodernism, religious and philosophical thought, scientific knowledge, orthodoxy, «feuilleton era»

Он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать явлением, а не человеком.

З. Гиппиус

Писать о В. В. Розанове весьма сложно, но и совершенно необходимо. Не писать о нем просто невозможно, поэтому о нем и написано очень много. Но как-то Розанов не включается в тезаурус русской философской мысли, не включается в систему российского философского образования. О нем можно сказать то, что Г. С. Сковорода сказал о себе: «Мир ловил меня, но не поймал».

Я, скажем, не могу себе представить, чтобы систематическое обучение на философском факультете обошлось без Сократа и Канта. А без Розанова такое обучение я могу себе представить легко. Более того, мне кажется, что без Розанова многие деканы философских факультетов вздохнули бы с облегчением. – **Розанов мешает! Он какой-то антипедагогичный, неправильный. И как изучать Розанова?!** – Все эти его сомнительные рассуждения о «женственности», о «микве», о евреях, о тайне пола... О чем спрашивать на экзамене?!

Писать о Розанове весьма **сложно** потому, что стиль его сочинений совершенно не укладывается в так называемые «академические рамки»; при поверхностном чтении он не производит впечатления «серьезного» мыслителя, которого, тем более, следует «изучать в высшей школе». Розанов – мистик, он «весь в хаосе, в минутах, в переживаниях, в проблемах. Все его книги точно дневник» (Г. Флоров-

ский). Заговор молчания о Розанове в советский период, когда его только огульно хулили причем «сквозь зубы» но совершенно не издавали, этот заговор молчания не мог, естественно, создать традицию представления его учащимся в школе.

Говорить о Розанове в школьном учебном пособии в то же время **необходимо** потому, что Розанов, как теперь становится все более очевидным, обозначил принципиально новый этап в эволюции гуманистических идей. Прошло почти сто лет с года его смерти, и теперь мы можем осознать, что Розанов был по существу своеобразным предтечей того типа рассуждения о человеке, которое развилось гораздо позже, уже в 60–80-е гг. XX в., причем, в первую очередь, не в России, а первоначально в Западной Европе и Америке и было названо **постмодернистским**.

Розанова за тот переворот, который он обозначил в развитии русской религиозно-философской мысли, называли «русским Ницше» (Д. Мережковский), хотя он не только не стоял на близких к Ницше позициях, но только был по многим позициям ему противоположен, но и вообще вряд ли был знаком с трудами великого немца. М. К. Мамардашвили, один из наиболее ярких отечественных философов советского периода, как-то, выступая в конце восьмидесятых годов в ленинградском Доме ученых, сказал о той эпохе

русской культуры, который называется «серебряным веком»: «Много тогда было гениев, но был только один умный человек. Это – Василий Васильевич Розанов».

Биография Розанова несложна. Он родился в Ветлуге в бедной провинциальной семье. Детство его проходило в тяжелой обстановке. У него не было нормальной семьи, что, возможно, потом в зрелые годы заставило его особенно внимательно исследовать роль семейных отношений в жизни человека. Именно семья, где человек, с одной стороны, вполне вменяем и может принимать действительно ответственные решения, а с другой – прикасается не только к самым основам социального и даже космического, именно семья и представляет достойную арену человеческой деятельности, активности, его доблести и мужества. «Индивидуум прочнее общества, долговечнее, семья ближе к нему, она может еще стоять, а общество уже рухнуло». «Семья и личная совесть гибнут в истории последними» («Сумерки просвещения»).

По окончании гимназии Розанов поступает в Московский университет на филологический факультет и по выходе из него получает место преподавателя гимназии в глухом провинциальном городе. Статья Розанова «Сумерки просвещения», где он едко и зло характеризовал состояние учебных заведений, вызвала репрессии против ее автора, которому оказалось невозможным совмещать преподавание и свободное писательство. Благодаря хлопотам видного в то время философа Н. Н. Страхова, Розанов получил место в Петербурге в Государственном контроле. Публицистика доставила Розанову известность и материальное благосостояние. В годы революции 1917 г. Розанов оказался в Сергиевом Посаде и здесь в страшной нищете и голоде умер.

Философское движение Розанова своеобразно. Поначалу он хотел быть «академическим» философом и написал толстый том в 737 страниц под названием «О понимании» (1886). Здесь Розанов выступал как рационалист кантовского толка, стремился найти принцип, обеспечивающий цельность всего научного знания. Такой принцип – это понимание. В отличие от эмпирического знания, понимание представляет собой деятельность разума. Эта книга, однако, оказалась неудачей. Он сам ее не любил. Ее не заметили в свое время, а сегодня ее переиздают не столько потому, что она сама по себе хороша или особенно важна, а просто потому, что Розанов как своеобразный философско-рели-

гиозный мыслитель создал после нее много другого, не только действительно важного, но и решающим образом выразившего суть того крестного пути, который прошел российский человек за XX в. Сам Розанов считал, что лучшая его книга «Уединенное», написанная так просто и читающаяся так легко, что ее поймут даже дети малые.

Розанова заметили в российской интеллектуальной элите после книги «Легенда о Великом инквизиторе» (1891). Под влиянием идей К. Леонтьева Розанов видел человека как мистический узел – сложный мир задатков и потенциалов человека. Этот узел не постигается с помощью науки, а схватывается только религией. Потребность **поклонения** – мистическое свойство человека, и религия поэтому вечная функция сознания. Глубокая религиозность есть одна из высших ценностей человеческой жизни, без которой человек не полон. «Человек религиозный более просвещен, чем человек нерелигиозный. Религиозный знает кто он, для чего рожден» («Сумерки просвещения»).

Всякое отношение к миру должно быть религиозным. Секрет успеха книги «Легенда о Великом инквизиторе» был не только в том, что его философия приняла гораздо более органичную для Розанова публицистическую форму, не только в том, что «Великий инквизитор» продолжал русскую традицию философствования, сближавшую философию и литературу (Розанов обнаружил свою глубинную близость к поздним славянофилам, к Достоевскому и Вл. Соловьеву). Главное было в совершенно новом осмыслении фундаментальной богословской проблематики, прежде всего фигуры Христа.

Собственно, европейский гуманизм всегда питался идеей Христа. Более того, сама идея гуманизма в известном смысле есть ключевая для христианства, осмыслившего роль Христа как **посредника** между непостижимым, немислимым Богом как Абсолютом и прозой, грязью и мелочами земной жизни. Христос в европейской культуре, подобно зеркалу, проходя через века, выражал в каждую эпоху самое глубинное в понимании человека, живущего на грани двух миров, мира горнего и мира дольнего.

Как религиозный мыслитель Розанов прошел несколько этапов. Сначала, на первом этапе, он всецело принадлежит православию. Он резко критикует Запад; западное христианство представляется ему «далеким от мира», «антимиром» («Религия и культура», 1901). В православии «все светлее и радост-

нее». В свете православия христианство представляется как «полная веселость, удивительная легкость духа – никакого уныния, ничего тяжелого».

На втором этапе своего развития Розанов начинает скептически относиться ко всему «историческому христианству», как западному, так и восточному: «Глубин христианства никто еще не постиг». Розанов одним из первых выдвинул тезис о «достоинстве христианства и недостоинстве христиан», подхваченный впоследствии Н. А. Бердяевым. Розанов противопоставляет Голгофу как «поклонение смерти» Вифлеему во имя Вифлеема как символа жизни и рождения. Проблема семьи становится в центр его богословских и философских размышлений. И в связи с этим христианство отходит на второй план, чтобы уступить место «религии Отца», Ветхому Завету.

И, в конечном счете, Розанов приходит к предпочтению Ветхого Завета Новому. Новый Завет – Евангелие – холодная, рационалистическая книга, где не поют (так же как и Герцен не пел, за всю жизнь не сложил и двух стихотворных строчек). И это не могло не вести к принижению Христа.

«Дух дышит, где хочет». Для Розанова божественное начало обнаруживается в быту, в бытовых религиозных обрядах, в «волненьях повседневности прекрасной», как называет быт впоследствии В. Набоков. Бог Розанова, представляя как обнаружение внутреннего опыта человеческой персональности, в конечном счете черпает свою силу именно в повседневности, в обыденности, в том самом быте, который был так унижен начиная, по крайней мере, с эпохи Просвещения. Церковь, говорит Розанов, – «одно в мире теплое, самое теплое на земле». Уютность, домашность Бога, религии и церкви – сквозная тема Розанова: «Бог есть самое „теплое“ для меня». И отсюда совершенно иная религиозность Розанова. Это не религиозность как исполнение некоего холодного и мучительного долга, но как самое органичное, самое человеческое человеческое бытие. «В конце концов Бог – моя жизнь». «Я только живу для Него, через Него. Вне Бога – меня нет». Он жил в Боге, как живут в домашнем уюте. «Владимир Соловьев думал о Боге, Толстой учил, Розанов „жил в Боге“» (К. В. Мочульский).

Противопоставление бытового религиозного сознания, с одной стороны, и метафизически и богословски обоснованной веры, с другой, чаще всего заканчивалось тем, что мыслители все-таки склонялись к необходимости теоретически фундированной религи-

озной веры. Розанов, напротив, с метафизическими основаниями бытия Бога уравнивает бытовое православие. Он показывает значимость того повседневного в религии, которым многие склонны были пренебрегать. В мае 1918 г., в голоде и нищете, когда жить ему оставалось меньше года, Розанов записывает в Сергиевом Посаде: «Только что простоял „со свечечками“. И опять пережил умиление».

Для Розанова человек, человеческая природа, человеческое бытие были не столько «проблемой», нуждающейся в разрешении или разгадке, сколько «методом» решения всех коренных философских проблем. В таком подходе его можно представить как последователя древнегреческого философа Протагора, утверждавшего, что «человек есть мера всех вещей». Но у Розанова речь идет не о каком-то абстрактном человеке вообще, как ставил вопрос сам Протагор, как мыслили гуманисты эпохи Возрождения, а в Новое время – просветители. «Розановский человек» – известный ему неизмеримо лучше всех других – сам автор, Василий Васильевич Розанов: с одной стороны, Розанов во всей бесконечной своей «одной-единственности» и случайности, и в то же время, с другой стороны, – Розанов во всей своей тотальности, всеобщности, универсальности его самого, «одного-единственного». Он в конце концов рассказывает только о себе, но рассказывает так, что высвечивается вся суть человечности, человечества и всемирной человеческой истории. **Интимность** – вот ключевое слово, характеризующее особенность философствования Розанова: «В сущности, вполне метафизично: „самое интимное отдаю всем“...».

Самое интимное в конечном счете оказывается наиболее важным, общезначимым, самым прочным: «Нежная-то идея и переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку „плачется“ при одной угрозе „вечною разлукою“ – это никогда не порвется, не истощится. Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно – паутина. Истинное железо – слезы, вздохи и тоска». Он сам пытался понять и высказать, что нового есть в его главном произведении «Уединенное»: «Новое – тон... манускриптов, до Гутенберга, для себя. Ведь в средних веках не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневековая литература во многих отношениях была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодоносна в своей невидности» («Опавшие листья. Короб первый»).

Здесь вопрос о стиле философствования

перетекает в совершенно иное, непривычное для новоевропейского человека видение европейского исторического процесса. Речь идет о фундаментальном оправдании средневековья вообще. Это вовсе не «темные времена», где человек был подавлен церковью, крепостничеством и т. п. Именно «великое самоограничение человека, тянувшееся десять веков, дало между XIV и XVI в. нашей эры весь цвет так называемого Возрождения... Средние века были великим кладохранилищем сил человеческих: в их аскетизме, в их отречении человека от себя; в презрении его к красоте своей, к силам своим, к уму своему – эти силы, это сердце, ум были сбережены до времени. Эпоха Возрождения была эпохой открытия этого клада... В этом великом тысячелетнем молчании душа человека созрела» («Декаденты», 1904).

Интимность розановской стилистики философствования, таким образом, вовсе не его «открытие», но давняя, хотя и во многом забытая традиция практического философствования. Природа розановского письма состоит в том, что сам этот процесс для него осознанная физиологическая потребность. Процесс писания – сама его жизнь. Он записывает везде: на улице, в вагоне, в редакции, на извозчике, в уборной, в постели ночью. Он пишет на всем: на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на конверте полученного письма. Розанов обречен на постоянное письменное «выговаривание» своей жизни, что доставляет ему радость, но радость мучительную. Он терзается своим безволием перед непреодолимой потребностью все вынести напоказ, «на площадь», хотя, как он говорит про себя, «в душе моей вечно стоял монастырь».

Все эти особенности произведений Розанова, к сожалению, делают их, по существу, непереводаемыми на другие языки. (Впрочем, на все языки мира он переводится.) Значительность и сам смысл его работ неуловимо ускользают в переводе. Это затрудняет воздействие Розанова на мировую философию. Перед нами судьба многих русских мыслителей, таких, например, как М. Салтыков-Щедрин, А. Платонов, и только ли русских?! Непереводаемость Розанова существенна и для процессов, происходящих в самой русской культуре; ведь мы, увы, готовы прислушиваться только к тем авторам, которые, подобно М. М. Бахтину и Ф. М. Достоевскому, получили признание на Западе, т. е. оказались «переводимыми».

Из той особенности философии Розанова, коренящейся в предельной индивидуальности

и субъективности, вытекает ее принципиальная фрагментарность, незавершенность, свободное движение не только между разными жанрами философского творчества, но и между журналистикой, литературой, философией, литературоведением.

Отсюда же вытекает и его существование вне политических партий и политических пристрастий. Современников раздражало, что Розанов сотрудничает как в «правых», так и «левых» изданиях, зачастую высказывая противоречащие друг другу тезисы. Им казалось, что он «беспринципен», «продажен» и т. д. За такую «позицию» П. Б. Струве предлагал «исключить Розанова из литературы»<sup>1</sup>. В. И. Ленин относил Розанова к числу «известных своей реакционностью (и своей готовностью быть прислужником правительства) писателей». Мнение Л. Д. Троцкого (1922) еще более уничтожающее: «Червеобразный человек и писатель: извивающийся, скользкий, липкий, укорачивается и растягивается по мере нужды». Сегодняшний взгляд на эту способность Розанова разыгрывать самые разные роли, как «левые», так и «правые», скорей в такой «театральности» обнаруживает его способность возвыситься над «злостью дня сего». Розанов действительно «двусмысленен», «протеистичен», он – «двуликий Янус», он колеблется между противоположными взаимоисключающими точками зрения на те вопросы, которые жгуче его волнуют: быт, христианство, иудаизм, пол, судьба России и т. п. Он не ставит точек над «i». Он убежден, что нет рационально выводимой окончательной истины. У него «множество сердец», и ему мало одной единственной точки зрения на предмет.

Что же касается политики, то такая ли уж доблесть быть активным в политическом отношении? «Я боюсь, что правительство когда-нибудь догадается вместо „всех свобод“ поставить густые ряды столов с „беломорской семгой“. „Большинство голосов“ придет, придет „равное, тайное, всеобщее голосование“. Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после „благодарности“ требовать чего-нибудь» («Опавшие листья. Короб первый»).

Демократия, говорит Розанов, имеет под собой одно право, проистекающее из голода. «Если демократия начнет морализировать и философствовать, то она обращается в мошенничество» («Опавшие листья. Короб второй»). Поэтому и «революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая... горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это чернота,

демократия. Верхняя пластинка золотая: это сибариты, обеспеченные и не делающие, гуляющие... Но они чем-то „на прогулках“ были уязвлены» («Опавшие листья. Короб первый»)<sup>2</sup>.

И прогноз, данный как бы между прочим, в начале XX в., прогноз, который полностью оправдался в начале XXI в.: «Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер... Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить как о высохшей росе: – Неужели он (соц.) был? И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?» («Опавшие листья. Короб первый»).

У Розанова мы получаем урок фундаментальной относительности всей этой политической суеты, разделения на «правых» и «левых», на фракции, партии и т. п. Чаще всего эта борьба, выглядящая как очень «серьезная» и «принципиальная», на самом деле просто обнаруживает честолюбивые амбиции политиков, прикрываемые «интересами народа», «прогресса».

Розанов – это трагическая улыбка «фельетонной эпохи». Предельная искренность и обнаженность в высказывании самого сокровенного о себе в то же время сплетаются у Розанова с озорством и мистификацией. «Я прежде всего не исповедуюсь», – заявляет он о себе в одном из самых интимных своих произведений. Розанов рассказывает о себе как о человеке языком не выпренимим и темным, – не языком надменного немецкого профессора, а цедит меткие словечки попросту, с хитроватым прищуром русского мужичка. Смех, явный или скрытый, витеет над его произведениями. Сократическая ирония неискоренима в нем. Она не могла быть уничтожена серьезными минами самодовольных немецких профессоров философии, изрекавших с кафедры, подобно Гегелю, «истины в последней инстанции». Трагическая улыбка философа, проистекающая из принципиальной несопоставимости Абсолюта, с одной стороны, и повседневной жизненной суеты, с другой, органически присуща Розанову. В этой трагической улыбке некоторая потаенная правда подлинного гуманизма: «каждый человек заслуживает только жалости».

Розанов всецело принадлежит к «фельетонной эпохе», так презрительно уничижавшейся О. Шпенглером и вслед за ним Г. Гессе. Он оправдывает своим творчеством жанр **фельетона** как своеобразного философского жанра в «срочной словесности», т. е. в журналистике. Он – «публицист с душой метафизи-

ка и мистика» – говорит о нем современный исследователь В. А. Фатеев. «Фельетонная эпоха» продолжается и сегодня в средствах массовой информации, и, вопреки проклятиям в ее адрес, набирает метафизическую силу в постмодернистском принципе «двойного кодирования», когда произведение, на первый взгляд, «легкое», общепонятное, в то же время внутри себя таит серьезное философское содержание. Хорошо это или плохо, но перед нами некоторая объективная закономерность современной духовной сферы, и Розанов обозначил это ее свойство еще сто лет назад, показав, как можно «философствовать фельетоном» (подобно тому как Ницше «философствовал молотом») в эпоху мировых войн и средств массовых коммуникаций.

Но, находясь в самой гуще «фельетонной эпохи», активно в ней участвуя, Розанов дистанцируется от нее. Критика в адрес «желтой прессы» начала XX в. оказывается поразительным образом критикой современной тирании телевидения: «Любят люди пожар. Любят цирк. Охоту. Даже когда кто-нибудь **тонет** – в сущности любят смотреть. Сбегаются... И литература сделалась мне противна» («Уединенное. Почти на праве рукописи», 1912). «Все писатели – рабы... своего читателя. Это все Мефистофель-Гутенберг устроил» («Опавшие листья. Короб второй»). Удивительно, как мысли М. Мак-Люэна, канадского мыслителя конца XX в., говорившего о печатном слове как о «Гутенберговой галактике» и, конечно, не читавшего Розанова, даже в своем образном строе совпадают с мыслями русского философа и публициста.

Розанов мыслит не столько рационально, сколько эмоционально: «**Боль** жизни могущественнее **интереса** к жизни». По поводу самой фундаментальной сути человеческого бытия Розанов знал не меньше, чем впоследствии М. Хайдеггер, но поведал об этом просто и понятно, скорей, языковым жестом и экспрессивным намеком, чем собственно отвлеченной логикой «строгих» философских понятий или хайдеггеровских экзистенциалов. Эта стилистика сближает Розанова с другим русским мудрецом, появившимся примерно через сто лет, уже в наше время – с Венедиктом Ерофеевым.

Розанов – патриот, но его патриотизм – это не патриотизм духового оркестра, а, так сказать, патриотизм, исполняемый на скрипке. Вслед за великим поэтом он может сказать: «Люблю отчизну я, но странною любовью».

«Счастливую и великую родину любить не велика вещь... Именно когда наша „мать“

пьяна, лжет, и вся запуталась в грехе, – вот мы и не должны отходить от нее» («Опавшие листья. Короб первый»).

Главный вопрос для русского патриота – это отношение к Западу. Розанов не питает никаких иллюзий в этом отношении: «Как дух – западничество ничто. Оно не имеет содержания. Но нельзя забывать практики, практического ведения дел. Всего этого „жидовства“ и „американизма“ в жизни, которые нужно целиком предоставить западникам, ибо они одни это умеют в России» («Опавшие листья. Короб первый»). И дальше, через несколько лет следует уж вообще эпатажная тирада. Это ни более ни менее как предложение «сдаться немцам»: «Ей-ей, под немцами нам будет лучше. Немцы наведут у нас порядок, – „как в Риге“. Устроят полицию, департаменты... Министерию заведут. Не будут брать взятки, – наконец-то... Мы научим их танцевать, музыканить и петь песни. Может быть, даже научим молиться» («Апокалипсис нашего времени»).

Мы «сдадимся» немцам, но «некогда Германия зальется русской вонью, русским болотом, русской мутью, русским кабаком... И отлично». («Опавшие листья. Короб второй»).

Самое главное «открытие», которое сделал Розанов в русской гуманистике ( «открытие», впрочем не такое уж и новое), было то, что он **частную жизнь поставил на первое место** по отношению с жизнью публичной. Сегодня этот тезис формулируется как приоритет интересов личности перед интересами государства. После русских декабристов, рахметовых, народников и т. п., которые едва ли не основным своим врагом выставляли русского обывателя, мещанина, для которого, мол, «своя хата с краю», Розанов эпатажно-торжественно заявил: «Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину? Частная жизнь выше всего». О себе он провозгласил: «Я – вечный Обломов». Судьба бережет тех, кого лишает славы, а тот, кто стремится к известности, подобен смешному и жалкому Добчинскому, для которого самое важное, чтобы о нем узнали в Петербурге. Бердяев назвал Розанова «гениальным обывателем». Историю делают именно обыватели: «Не Чацкий-Пестель, а Фамусов-Кутузов держит на плечах своих Россию, какая она ни есть».

Розанов писал о себе: «Люблю чай, люблю положить заплаточку на папиросу (где провалось). Люблю жену, свой сад (на даче)... Люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон».

Отсюда и негативное отношение к «со-

циальному прогрессу», к «прогрессивным изменениям». Людям «нижнего яруса» весь этот «прогресс» не нужен. Тем, «которые во власти не участвуем и не хотим участвовать, которые любим стихи и звезды, микроскоп и нумизматику, – совершенно явно мы должны оставить все как есть и не становиться в оппозицию к настоящему королю во имя короля будущего, Желябова № 1... «Нам все равно». Т. е. успокоимся и будем делать свои дела» («Опавшие листья. Короб первый»).

Связывая с семьей, ставит Розанов и проблему образования. При всей своей «неакадемичности» Розанов, имевший значительный и действительно им осмысленный опыт преподавания в гимназии, глубоко понимал и сумел выразить самую суть образования, его драматические противоречия и решающую роль в человеческом бытии вообще. «Каждое время имеет ту школу, которой оно заслуживает», «не исцелишь школу, не исцелишься школой». Как современно звучит ирония Розанова: «представляется, что секрет улучшения школы состоит в отыскании наилучшей трафаретки». (Как тут ни вспомнить ЕГЭ!)

Розанов исходит из постулата, что «детский мир серьезнее мира взрослых – ребенок должен быть всегда серьезен».

Образование было осмыслено им не только и не столько как «формальное», даваемое в гимназии или университете, но и как главным образом «информальное», которое происходит в семье и в церкви. Из уст в уста, из глаз в глаза. «Семья сформировала ребенка, укрепила, дала ему веру и серьезность – остальное может сделать школа». Человек воспринимается художественно и религиозно в целом семьей и церковью, а государство и связанная с ней формальная школа «делит человека на части». Господство бюрократии, государства приводит к тому, что «школа и у нас, и на Западе бескультурна». «Школа стала интенсивно работающей фабрикой по производству человеческих душ. И все стало непоправимо». Тем не менее нужно удалить из школы чиновника, который создает «давящую бумажную отчетность у учителей». Вызывает осуждение Розанова «учитель без родины», без корней, учащийся в разных местах, эдакий «коммивояжер просвещения». Воспитывать следует бытовыми формами, без слов, без поучений, одним своим духом. Необходимо ограничить время обучения. Продолжительная школа – просто неумелая. Мужчин нужно прекращать учить в 20 лет, а женщин – в 15. (См. его работы, собранные в сборнике под названием «Сумерки просвещения», 1899).

\* \* \*

Да, Розанов фундаментальным образом одинок. Молодой российский философ, студент философского факультета, пусть и не надеется, что Розанова ему преподадут в лекциях и семинарах. Это такая философская литература, которую по определению нужно читать из-под полы. Розанова можно обсудить только в доверительном разговоре с таким профессором, который может быть для тебя другом.

Но не потому ли Розанов одинок, что прямо ставит подлинно философские, самые главные вопросы, которые **по определению** не укладываются в рамки учебных программ? Не такова ли судьба также философа Блеза Паскаля, который и до сих пор «нежелательная и маргинальная фигура» в учебных философских курсах? Разумеется, гораздо легче изучать смертного противника Паскаля Вольтера. Но если Вольтер

суетился по поверхности, то именно Блез Паскаль сказал может быть самые главные слова о человеческом бытии: «До чего мы нелепы с нашим желанием найти опору в себе подобных! Такие же ничтожные, такие же бессильные, как мы, они нам не помогут: в смертный свой час человек один. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете. Но станет ли он тогда строить себе роскошные палаты и т. д. ? Нет, он сразу углубится в поиски истины. А не сделает этого, – что ж, значит, людское мнение для него дороже истины»<sup>3</sup>.

### Примечания

<sup>1</sup> И, заметим, где в русской литературе сам П. Б. Струве?! Просто забыт! И растущая значимость Розанова...

<sup>2</sup> Как тут ни вспомнить Болотную площадь 2012 года!

<sup>3</sup> Паскаль Б. Мысли / пер., послесл. и коммент. О. Хомы. М.: Refl-book, 1994.